Солженицын Александр

11.12.98

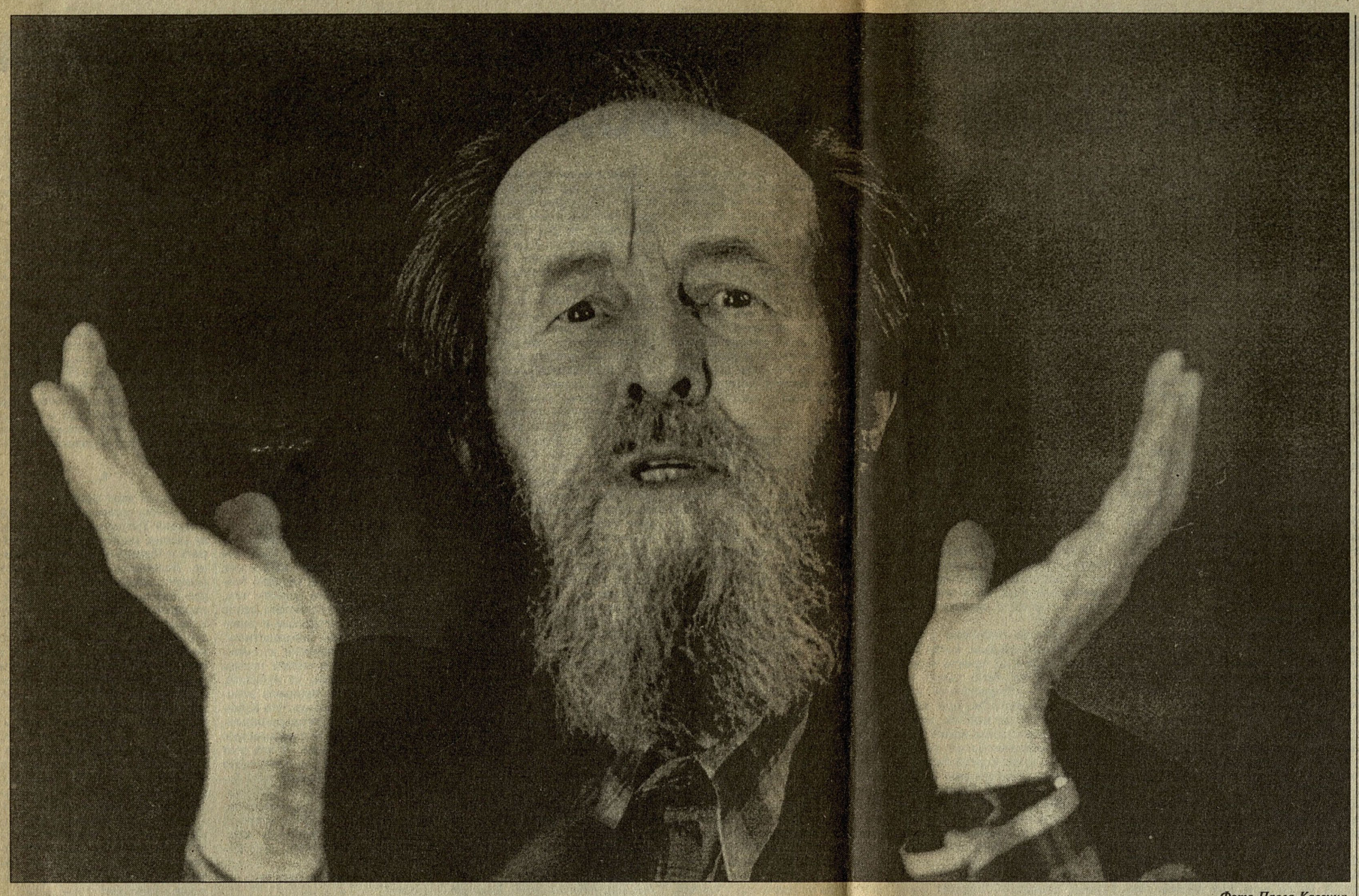

Фото Павла Кассина

Сегодня Александру Исаевичу Солженицыну исполняется 80 лет

ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЖИ

Один человек побеждает целое государство

Игорь Золотусский

И Мамай правды не съел.
Русская пословица

I

ОСЕНЬЮ 1974 года уже обретший пристанище в Швейцарии Солженицын договорился с Владимиром Набоковым, живущим в Монтре в «Палас-отеле», о встрече. Встреча была назначена, и в определенный час Набоковы – сам Владимир Владимирович, его жена Вера Евсеевна и сестра Елена Владимировна Сикорская – спустились в холл гостиницы, куда должен был прибыть автор «Ивана Денисовича».

Но он проехал мимо.

Вот что пишет по этому поводу сам Солженицын: «*В Монтре же предполагалась встреча с Набоковым, но по недоразумению (он как будто ждал нас в этот день, но не прислал условленного подтвержденья, мы еще с дороги проверяли звонком в Цюрих) оставалось нам миновать его роскошную гостиницу. (А как странно постоянно жить в гостинице!)*».

Как рассказывала мне сестра Набокова, они прождали Солженицына около двух часов. И так никаких объяснений относительно его неприезда (а как теперь оказывается, проезда мимо) не получили.

Взглянем внимательно на отклик Солженицына на это «недоразумение». Здесь небезынтересны две подробности: *не прислал условленного подтвержденья; мы проверяли звонком в Цюрих*. Что это, если не лексика и тактика подполья, «писателя-подпольщика», как называет себя Солженицын? Каждый шаг такого писателя есть шаг почти секретный, тайный, подстрахованный проверкой и перепроверкой, обеспечивающими его безопасность. Вряд ли Набоков (при всем его воображении) мог предположить, что человек, находящийся в свободной стране, все еще остается зеком, чей взгляд всегда настороженн, внимание и слух начеку, а система защиты, работающая, как часы, не отключается ни на минуту.

Так и не состоялось это свидание. Так разошлись, не встретившись, две культуры – одна рожденная на свету, другая – взлелеянная в потемках. Первой свобода была дана от рождения. Второй – для того чтобы выйти на свет, надо было взорвать придавившую ее плиту.

«*Я жалел,* – сознается Солженицын, – *что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел*».

«*Контакт*» – слово деловое, холодное, я бы даже сказал, служебное. В нем нет сердечности, нет желания идти на предельную близость. И здесь Солженицын прав: контакта (пусть только контакта!) и не могло быть. Он представлял «Литературу Больших Идей» (ироническое выражение Набокова), Набоков – литературу, не обремененную этими Идеями.

«*Сетовал я еще в СССР,* – говорит в своей книжке «Угодило зернышко меж двух жерновов» (продолжение «Теленка») Солженицын, – *зачем не пошел он по главной дороге русской истории?.. не взялся писать о гибели России*?» А до этого, в 1972 году, посылая Набокову письмо с сообщением, что выдвинул его на Нобелевскую премию, пеняет творцу «Лолиты»: «*Пользуюсь случаем выразить Вам и свое восхищение огромностью и тонкостью Вашего таланта... и свое глубокое огорчение, даже укоризну, что этот великий талант Вы не поставили на служение нашей горькой и несчастной судьбе, нашей затемненной и исковерканной истории. А может быть, Вы еще найдете в себе и склонность к этому, и силы, и время?*»

Не стану оспаривать этого мнения Солженицына о Набокове, а также уместность советов, которые он Набокову дает (тому – 74 года, и он написал уже все, что написал), укажу лишь на различие двух фигур, двух писателей – оно-то для схватывания облика героя моей статьи важнее всего.

Набоков – писатель-артист, гений поэтической игры, дешифрования (и одновременно шифрования) тайны жизни и тайны смерти. Солженицын – писатель-мститель, гений мщения, вышедший из леса, чтобы взорвать коммуникации врага. Понятие «враг» – коренное понятие его бипольярной прозы, где на одной стороне – наши, свои, на другой – враги, которым нет пощады.

> *“ Анти-история Солженицына – еще не вся история, но она нужна, как хлеб, как пайка, которую проглатывает оголодавший зек ”*

Да и сам словарь Солженицына доносит до нас запах сражения и большой войны. В книге «Бодался теленок с дубом», где рассказывается, как писался «Архипелаг ГУЛАГ», как скрывал его автор от глаз КГБ и как взорвался он на Западе, отдавшись эхом в СССР, язык фронта пылает на каждой странице. «*Плацдарм расширялся*», «*враг дрогнет и отойдет*», «*сражение расходится шире и глубже*», «*власти отступают*», «*дал новый залп*» (это – о себе и о своих публикациях), «*выиграл еще одну фазу сражения*», «*численный перевес*», «*как в бою*». Есть, правда, и простодушно-азартное: «*я им врезал*».

Но более всего меня поразила фраза, которую я прочитал в «Теленке»: «*я делаю историю*». Она не поразила меня тогда, когда я в первый раз (еще в самиздате) читал эту книгу, но сейчас, когда эта история уже позади, я будто увидел ее выделенной крупным шрифтом.

Мне все время приходилось возвращаться на ту станцию, которую уже проехали, и заставлять себя восстанавливать чувства, которые я пережил, когда читал Солженицына впервые, когда сильно билось сердце и когда ощущение, что история вышла из заржавленного тупика, что сильный толчок, данный ей Солженицыным, вывел ее на какой-то иной путь, было не сном, а явью.

Один человек стронул состав, который, казалось, навечно прирос к рельсам, которому и катиться-то было некуда, а тут он быстро пошел под гору. Но низа горы мы тогда не видели, не знали, что, развалившись под горой, он погребет нас под своими обломками.

Думаю, не знал этого и Солженицын.

Исповедуя войну, он исповедовал не бунт, а войну в духе Кутузова: временный отход, одурачивание врага, затем бросок, удар с тыла и вновь примат тактики над стратегией, игра, заманивание в открытое поле, наконец, разгром.

Для одоления врага все свято, какой бы ценой это ни оплачивалось, но лучше минимум риска, минимум жертв, ибо когда рискуешь и жертвуешь, то воюешь лоб в лоб, а для стоящего по ту сторону это слишком большая честь, ненужное рыцарство – значит, не поднимайся во весь рост, а бей с той позиции, откуда не ждут.

Всякая бумажка, написанная его рукой, пишется не в стол, укладывается не на полку, а хоронится в тайнике, и тропа к нему так петляет, так запутанна, что и опытная ищейка собьется, потеряет нюх, начнет кружить на одном месте.

Идея сокрушения врага, обессиливания и опорочивания его – идефикс, тот конечный верстовой столб, до которого, хоть и скрипя зубами, надо во что бы то ни стало дойти, а может быть, обдирая в кровь руки, и доползти.

> *“ Идея сокрушения врага, обессиливания и опорочивания его – идефикс, тот конечный верстовой столб, до которого, хоть и скрипя зубами, надо во что бы то ни стало дойти, а может быть, обдирая в кровь руки, и доползти ”*

Отсюда **религия цели** и подчинение ей всего: жизни, любви, времени, энергии нервных клеток. Отсюда и лазерная концентрация воли, отвага, стихия которой все время пребывает под контролем разума, высокий вольтаж и непрерывность рабочего цикла. Солженицын – фанатик стола, даже если это в данную минуту не письменный стол, а первая попавшаяся фанерка, доска или просто клочок бумаги, расправленный на ладони.

Отсюда и подпольное шифрование (шифрование прямое, а не поэтическое, как у Набокова), и все ухватки подполья, иносказание (т.е. игра) в жизни и откровенная прямота в писании.

Солженицын как бы прерывает эзопову традицию в советской литературе. Ему не нужны намеки, глухие аллюзии, хитрые эвфемизмы. Он, что называется, режет правду-матку, не стесняясь в выражениях, не страшась самых страшных последствий. Его метафорический ряд направлен не на драпирование истины, а на извлечение из нее сокрытого смысла.

В 60-е годы, когда правда еще томится за семью печатями, он взламывает замки, выпускает правду на волю и дает пример кратчайшего доступа к ней. Но при этом все же остается в одиночестве, остается исключением из правил, так как разбуженный им читатель (да и писатель) не готов к исполнению заповеди смельчака: жить не по лжи. Готовы и встают на тернистый путь – некоторые, но не готовы – тысячи.

Исключительность и единственность, ставя Солженицына на недосягаемый пьедестал, есть вместе с тем и причина его драмы – драмы одиночки, драмы неоспариваемого пророка в отечестве. Равных ему фигур в тяжбе о спасении России нет. Нет ни по масштабу личности, ни по температуре горения, ни по исключительности биографии. И поэтому его точка зрения, так резко противопоставившая себя официозу и, естественно, удесятеренная в силе его мужеством, становится как бы единственно верной и единственно честной.

Конечно, был в то время уже и Сахаров. Но Сахаров стал Сахаровым (таким, каким мы видим его сейчас в нашей памяти), когда Солженицына вытолкнули на Запад. Едва начавшаяся между ними полемика прервалась. Сахаров в СССР жил под угрозой ареста, под угрозой гибели – и диалог между живущим на свободе писателем и живущим под надзором академиком был невозможен. С этого момента они поменялись местами: голос Солженицына из далекого Вермонта стал звучать глуше, голос Сахарова набирал силу.

В только что опубликованной главе из книги «Угодило зернышко меж двух жерновов» Солженицын пишет, что не доспорил с Сахаровым, не довел их диалог до конца. Ему, почвеннику, западник Сахаров был оппонент.

Преимущество Сахарова явилось в те годы не как преимущество взглядов, а как **преимущество близости**: он был **здесь**, мы видели его, слышали. Его улыбка, его детская безоружность и недетская твердость разоружали даже тех, кто был не согласен с ним. Сахарова нельзя было не любить, Солженицына нельзя было не уважать.

Отвергнутый здесь, он искал понимания **там**, и нашел его, ибо, не будь Запада, не было бы и «Архипелага ГУЛАГ» (вышел 25 лет назад – как раз в декабре – в Париже), не было бы и Солженицына, потому что его слава там сковывала руки его гонителям здесь. Запад прикрыл его своею броней, не дал его голосу пропасть и, наконец, приютил на долгие годы в изгнании.

Но и со своим спасителем Солженицын, едва осмотревшись, вступил в жестокий спор. Он и там не побоялся пойти против течения, против святая святых тех, кто защищал, печатал, перевозил через границу его бумаги и, читая, чтил его. Выступая в 1978 г. в Гарвардском университете, он бросил перчатку религии обогащения, тому эрзацу «счастья», который для Запада есть кумир.

Помню, как в 1987 г., когда я читал лекции в Бостоне (именно там, где была произнесена знаменитая Гарвардская речь), американские интеллектуалы (а Бостон – их столица) говорили при упоминании мною имени Солженицына, что уже не верят ему, не хотят его слушать, ибо он узок, упрям, патриархально-старомоден и не любит Америку.

А меж тем не кто иной, как Солженицын, встряхнул их и заставил промытыми глазами взглянуть на «империю зла». Думаю, что и сам этот термин появился не без его влияния.

Мечта западных интеллигентов, готовивших некий проект моста между Москвой и Вашингтоном (с высоты которого, почти как у Манилова, было бы видно обе столицы), развеяна в прах. Дружить и сосуществовать с режимом, который, сгноив две трети своих граждан, уж точно не пожалеет чужих, значило идти навстречу собственной смерти. Тогда-то и была запущена программа «звездных войн», начисто лишившая СССР козыря устрашения – возможности достать американцев ракетами.

«Перестройка» началась с этого проигрыша в военной гонке, а не с «реформ» Яковлева и Горбачева. Маховик перемен раскрутили Рейган и Шульц, хорошо в свое время проштудировавшие книги Солженицына.

II

Конечно, и внутри России влияние его было огромно. Солженицын переписал советскую историю: сквозь лаково-красный (не зловещий, не ранящий глаза) цвет, покрывавший на карте территорию СССР, проступили темно-бурые пятна запекшейся крови. В иных местах они переходили в цвета синевато-белые, цвета омертвевшей ткани. Казалось, тело страны поражено гангреной, тем заражением, с которым не в состоянии справиться и хирургический нож.

Многие поняли, прочитав Солженицына, что ходят по земле, усеянной – и вовсе не только на кладбищах – костями, останками безвинных жертв, поняли свою вину перед ними и свой долг отмщения.

Как понял его главный герой «Круга первого», alter ego Солженицына, Глеб Нержин.

Нержин удивляется, отмечая в себе «*нахрап и хват*», которых не знала старая интеллигенция. Он не просто зек, а зек, смотрящий на своих палачей, как волкодав смотрит на волка. И не зря дворник Спиридон говорит ему, впечатывая каждое слово: «*Волкодав прав, а людоед – нет*».

«*Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи*» мучает Нержина с детства, а в 30 лет он дает клятву свести счеты с большевиками. «*Четыре гвоздя их вранью, – шепчет он, – в ладони, в голени – и пусть висит и смердит, пока Солнце погаснет, пока жизнь окоченеет на планете Земля*».

И если больше никого не найдется – эти четыре гвоздя Нержин вколотит сам».

Что ж, Солженицын эту клятву Нержина сдержал. Четыре гвоздя в их вранье он вколотил, и как бы ни кружили сейчас вокруг повергнутых идолов «новые ленинцы», как бы ни тащили на постаменты вчерашних взломщиков сейфов (для нужд партии), читавших в подлиннике Гегеля палачей, уже не дети наши (они прошли мимо «Архипелага ГУЛАГ»), а внуки и дети внуков станут изучать историю России в XX веке по Солженицыну, по его свидетельствам, которые – я верю – не покроет архивная пыль.

Анти-история Солженицына – еще не вся история, но она нужна, как хлеб, как пайка, которую проглатывает оголодавший зек, а если вспомнить, что в зеках или в семьях зеков перебывала почти вся Россия, то как же отказаться от этого поминального списка извлеченных из вечной мерзлоты и отогретых дыханием памяти отцов наших и братьев?

Вечная слава тому, кто это сделал.

Когда-то Чернышевский сказал, что история – это не прогулка по Невскому проспекту, история – это борьба. Солженицын тоже видит историю как борьбу. И хотя он не «зовет Русь к топору», его колокол звонит по поверженным мифам.

История его жизни, история писательства и победы над властью не имеет в нашем столетии прецедента. Один человек побеждает целое государство – и какое государство! «*...отчего ваши ракеты,* – пишет он в «Теленке», – *ваша мотопехота и ваши гебистские подрывники и шантажисты – почему все в отступлении... Бодался теленок с дубом – кажется, бесплодная затея. Дуб не упал – но как будто прогнулся? Но как будто малость подался? А у теленка – лоб цел...*»

Дуб прогнулся, более того, рухнул, хотя вырвало его не с корнем, а корни, как известно, живучи. (Наглядный урок тем, кто опять захочет бодаться.)

Что же касается мифов, то есть мифы социальные и есть мифы поэтические. Бердяев, например, считал, что «история не есть эмпирическая данность, история есть миф. Миф же есть не вымысел, а реальность, но реальность иного порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности». Эту высшую реальность, реальность провидения признает и Солженицын. Но все же его тянет к земле. Миф – не его стихия, волшебство вымысла, набоковский, как бы сегодня сказали, виртуальный космос далек от подавляющего все в нем земного притяжения. Он способен оценить дар автора «Дара», но, как Святогора, его влечет к себе почва. Только соединившись с нею, обретает он равновесие, устойчивость и приливающую к сердцу силу.

Он, как **Нержин**, принадлежит к образцам **нержавеющей** стали, да еще такой закалки, что о нее ломается любая сталь. Сталь на сталь – вот сюжет поединка Солженицына с коммунистическим монстром.

III

Важное признание автора «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матренина двора»: «*Конечно, политическая страсть мне врождена. И все-таки она у меня – за литературой, после, ниже. И если б на нашей несчастной родине не было погублено столько общественно-активных людей, так что физикам-математикам приходится браться за социологию, а поэтам – за политическое ораторство, – я отныне и остался бы в пределах литературы*».

> *“ На исходе века, после потрясших Россию подземных толчков (и еще они будут) он снова в одиночестве, опять один ”*

Допущу, что, если б последнее случилось, мы бы не имели такого явления, как Солженицын. Может быть, к несчастью его самого, но к счастью читателя, литература оказалась у него за всем остальным, ибо, будь по-первому, мы имели бы еще несколько книг честной прозы и не имели бы «Архипелага ГУЛАГ».

И все-таки, отдавая должное трем томам сказания о гибели земли русской, мы не можем забыть стоящих в отдалении и, может быть, стесняющихся своего соседства с этой великой пирамидой египетской – Ивана Денисовича Шухова и тетку Матрену. Кажется, их лица взяты с неяркого группового снимка, из тех, что висели в застекленных рамочках в каждой крестьянской избе. Их очертания выцвели, бумага стала желтеть и коробиться, но свет их глаз и всего их облика не померк, не потух.

Наоборот, он засветился еще пронзительней.

В этих рассказах Солженицын-судия уступает место поэту, и высокий звук жалости, нежности, состраданья облетает их короткое пространство. Он взмывает вверх и звучит там, не умирая, как гоголевская «струна в тумане». Здесь Солженицын милосерден, здесь он даже смиренен, он не Зевс, мечущий молнии, а виновный сын, как сказал бы Бердяев, напоминая, что «лишь виновные сыны, а не обиженные рабы свободны».

Интеллигенция XIX века чувствовала свою вину перед народом. Из этого чувства и родилась, по существу, русская литература, ее идеал, ее порыв к человеку без имени, без права занять хотя бы строчку в истории. От «Антона Горемыки» Григоровича до «Хозяина и работника» Толстого – вот ее путь от барина к мужику, от просвещения к просветлению, от поклонения нравственному закону к воплощению его на деле. Череда предшественников Солженицына – виновные сыны, и он так же виновный сын.

Хотя обида и гнев не оставляют его.

Его инвективы разрушительны, его жалость созидательна. Вот почему выплывают из морозного марева (я почему-то вижу их так) две колеблющиеся в нем фигуры, два нежно очерченных образа – зека-каменщика (и солдата) Ивана Шухова и вдовы, бездетной, а в конце и почти бездомной Матрены. Ведь двор ее разрушен, распилен и увезен в чужую сторону. А Шухов кладет кирпичи в стену за колючей проволокой.

Родные лица, общая наша судьба.

За время, протекшее от их рождения, много воды утекло. Изменился читатель, но не изменился Солженицын. И вот на исходе века, после потрясших Россию подземных толчков (и еще они будут) он снова в одиночестве, опять **один**.

В 70-е, еще в Америке, отдавая по 18 часов в сутки писанию «Красного колеса», надеясь на прохронометрированный им график истории, он упускает непредвиденное ее ускорение, но не может остановиться и оборвать раскручивание заведенной пружины.

Так истекал **первый акт** драмы.

Так часы на руке Солженицына и часы, отбивающие бой на родине, начинают расходиться, и разрыв в показаниях их стрелок все более и более увеличивается.

Второй акт драмы: конец 80-х. Солженицына начинают выборочно печатать в СССР. Россию навещают диссиденты. Солженицына нет.

Третий акт: чуть ли не все журналы в СССР печатают все, что он написал. Миллионные тиражи его книг, выходящих одновременно с журналами, создают «синдром Солженицына». Вместе с тем авторитет его имени еще так высок, что, явись он сейчас, политическая ситуация на родине может принять непредсказуемый оборот.

Четвертый акт: август 1991 г. Солженицын заявляет, что не вернется в Россию, пока не закончит «Красное колесо».

Пятый акт: возвращение в 1994 г. и **опоздание** с возвращением. Россия в огне чеченской войны. Верхушка власти и все ее новообразования гниют. Страна развалена, слово писателя ничего не значит.

Внутри интеллигенции, раздернутой на партии, разрываемой ненавистью, соперничеством и «идейными» несогласиями, Солженицыну места нет. Он не «демократ» и не «патриот» (новая кличка коммунистов), он, как всегда, сам по себе. Его приверженность «русскому пути» отталкивает от него «демократов» (тех же коммунистов), его неистребимое недоверие (презрение, отвращение) к коммунизму не дает никаких шансов «патриотам» объявить его «своим».

И вот на дворе 1998-й. Выходит новая книга Солженицына «Россия в обвале» – горькая, честная, облитая слезами автора. И что же? Где эхо взрыва? Где залп «Авроры»?

Теперь эти залпы гремят в подворотнях и подъездах – такова канонада времени.

Но отгремит и она. Утихнет вражда. Может быть, очистится небо. И Солженицын – уже отобранный и отсеянный – вновь вернется в Россию.

Какой будет она и каким будет он в ней?

Я не знаю. ■

149